

Самуил Лурье
Литератор Писарев
Серия «Диалог»

12+

Книга про замечательного писателя середины XIX века, властителя дум тогдашней интеллигентной молодежи. История краткой и трагической жизни: несчастливая любовь, душевная болезнь, одиночное заключение. История блестящего ума: как его гасили в Петропавловской крепости. Вместе с тем это роман про русскую литературу. Что делали с нею цензура и политическая полиция. Это как бы глава из несуществующего учебника. Среди действующих лиц — Некрасов, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Достоевский. Интересно, что тридцать пять лет тому назад набор этой книги (первого тома) был рассыпан по распоряжению органов госбезопасности...



САМУИЛ ЛУРЬЕ

**ЛИТЕРАТОР
ПИСАРЕВ**



КНИГА ПЕРВАЯ

За теориею словесности следует история русской литературы. Эта история, как и все другие, представляет список имен, которые навсегда останутся для ученика именами, ровно ничего собою не означающими. Жил-был Нестор, написал летопись; жил-был Кирилл Туровский, написал проповедей много; жил-был Даниил Заточник, написал Слово Даниила Заточника; жил-был Серапион, жил-был, жил-был, и все они жили-были, и все они что-нибудь написали, и всех их очень много, и до всех их никому нет дела, кроме гимназистов и исследователей старины.

*Д. И. Писарев. Наша
университетская наука*

Глава первая

1840—1856

Варваре Дмитриевне Даниловой долго не удавалось выйти замуж. Росла она без матери; ни сестер, ни подруг. Воспитывалась в доме тетушки Натальи Петровны. Зябкое девичество, французский дневник. Владела французским получше многих уездных барышень, порядочно играла на фортепиано.

Однако манерам ее не доставало плавности, в улыбке не было простодушия, обращение отзывалось какой-то суховатой восторженностью. И драгунские офицеры, наезжавшие к родным в Орловскую губернию, не спешили ангажировать Варвару Дмитриевну на grosфатер или же на мазурку. Ей исполнилось уже двадцать четыре, когда румяный, с холеными усами штабс-капитан Писарев сделал предложение.

В октябре тридцать девятого сыграли свадьбу, переехали в Знаменское Елецкого уезда, поселились в просторном, многолюдном доме: Иван Иванович владел имением сообща с братьями. Потянулась крикливая череда мелкопоместных развлечений. Не прошел медовый месяц, когда Варвара Дмитриевна случайно прочла письмо своего молодого супруга к какому-то бывшему сослуживцу. С некоторой горделивостью Иван Иванович сообщал, что вышел в отставку и женился — на деньгах.

«И не было той любви, которую я думала встретить», — жаловалась Варвара Дмитриевна дневнику.

В начале октября сорокового года родился у Писаревых сын Дмитрий. Кормила его кормилица, нянчила няня. В Знаменское были приглашены сперва бонна — фрейлейн Блез (мальш звал ее Люлей), а потом и гувернер — мсье Латорильер.

Варвара Дмитриевна неусыпно руководила воспитанием сына. Кажется, ей не чужда была мысль, что вот она среди сугробов растит необыкновенного человека.

Она приучила малыша к ежевечерней исповеди. Вдвоем разбирали каждый прожитый день. Митя вел для мамы дневник, признавался ей в шалостях и проступках. Проступки порою бывали важные: читая задремавшей Люле Шиллерову «Тридцатилетнюю войну», пропустил несколько страниц. Ему и в голову не приходило, что можно скрыть, придержать хотя бы и самую мимолетную мысль. Домашние прозвали Митю «хрустальной коробочкой».

Варвара Дмитриевна считала, что ни часа не должно пропадать впустую, без пользы для развития ребенка. Игры с деревенскими ребятишками, зряшная беготня, бесцельные прогулки не допускались. Сразу после завтрака начинались занятия. Французские глаголы, немецкий диктант, чтение вслух, чистописание, стихи наизусть...

Чему учить мальчика, кроме языков и арифметики, Варвара Дмитриевна не знала, и никто в уезде не знал. Выписывали «Детский журнал», вечерами читали вслух. Прослышав, что дьякон соседнего прихода славился в семинарии как отличный латинист, призвали дьякона. У писаря каллиграфический почерк — наняли писаря.

Случались в Знаменском гости — Митю высылали к ним, и те, как водится, ахали: до чего же бойко малютка стрекочет по-французски, и держится при этом невозмутимо, точно взрослый.

Митя выказывал прилежание, и языки давались ему легко. Но, к огорчению Варвары Дмитриевны, больше всего он любил играть в куклы да раскрашивать в книжках политипажи. Иногда отец брал его с собой на охоту. Мальчик до слез пугался лошадей, собак, выстрелов и выкриков. Иван Иванович прозвал сына нюней и время от времени собственноручно сек.

Но это бывало редко. Глава семьи большую часть жизни проводил перед зеркалом. Выписывал из столицы разные притирания, лосьоны. Выезжал на поля не иначе как под зеленым вуалем. Пользовался успехом у красавиц околотка.

Между тем, дела по имению шли неважно, а после неурожайного, пожарного сорок восьмого года стало ясно, что Знаменское придется продать за долги.

Хорошо еще, что купить вызвался двоюродный братец Николай Эварестович Писарев, бывший олонекский гражданский губернатор, богатейший помещик.

У Ивана Ивановича было еще небольшое имение в Тульской губернии, в Новосильском уезде. Называлось оно Грунец. Туда и решили перебраться.

Семейство Писаревых к этому времени разрослось. Вере, дочери, шел пятый год.

А еще Варвара Дмитриевна взяла на воспитание племянницу мужа, Митину ровесницу, девятилетнюю Раису.

Ее мать, Настасья Ивановна Коренева, умерла в Москве, осиротив троих детей. Раиса и раньше гостила у Писаревых. Теперь осталась насовсем. Уж Варвара-то Дмитриевна знала, каково это — расти без матери. Но тут были не только

христианские, не только родственные чувства. Все поступки, знакомства и разговоры Варвары Дмитриевны имели одну цель: как можно лучше приготовить Митю к неведомой, но великой будущности.

А Митя тяготился бесконечными уроками. Ему недоставало честолюбия, упорства, желания отличиться. Да и перед кем? Сюсюканье взрослых приелось. Верочка еще слишком мала. Нужен был сверстник, равноправный товарищ.

Раиса была умна, насмешлива, развита не по годам: успела уже распробовать судьбу «чужой барышни», маленькой приживалки, успела узнать зависимость, одиночество, утраты. И читала в отцовском доме много, даже романы. Варвара Дмитриевна просто в ужас пришла, когда племянница без тени смущения призналась, что прочла «Ледяной дом» Лажечникова, — ни больше ни меньше!

Девочка была с характером. Смелая, гордая, скрытная. И собой недурна: худенькая, стройная, темные волосы, серые глаза. Рыхловатый, краснощекий Митя подле кухни казался малышом. Она его называла «деточкой», он ее прозвал «бабусей», Раизой, Розой. Дети стали неразлучны. Расчет мамы, если он был, оправдался вполне. Занятия пошли гораздо веселей. Но зато скоро весь дом возревновал Митю к «чужой барышне». Однажды старая нянька сказала в шутку, что Раиса, дескать, чересчур уж тощенькая. Мальчик залился слезами: «Зачем ты это сказала, ведь я теперь никогда уже не смогу тебя любить, как прежде».

Ему было девять лет. Он был влюблен в Раису и часто, засыпая, представлял, как выносит ее на руках из горящего дома, или дерется за нее на дуэли, или бросается за ней с обрыва в реку.

Переезд в Грунец совершился осенью пятидесятого года. Варвара Дмитриевна была удручена неприглядностью новой обстановки: река далеко, сад запущен, и дом неудобный, скрипучий — даже не дом, а просто собрание пристроек и флигелей, косящихся в разные стороны.

Впрочем, к приезду господ были выбелены стены, заново расписаны потолки, ампирная мебель обита малиновым штофом, исправлены раздвижные вольтеровские кресла. Дети бродили по комнатам, еще не получившим названия и назначения. В эти дни Раиса придумала игру. Она так и называлась — Наша Игра. Каждый — Митя, Раиса, Вера — брал под свою власть и покровительство нескольких кукол. У

кукол были красивые имена — Эльмира, Шам, Антонио. Их знакомили, женили, разлучали. Каждый вечер отношения менялись, фарфоровые персонажи тосковали друг без друга и соединялись вновь. Сюжет вился. Игре не видно было конца.

Но Мите предстояло ехать в Петербург. Николай Эварестович Писарев вынужден был платить за обучение племянника в гимназии. «В люди выйдет, станет на ноги — сочтемся». Много слез пролила Варвара Дмитриевна, и будущий гимназист, конечно, плакал навзрыд. Однако расставание было неизбежно. Это ясно понимали все, даже Иван Иванович, высказавшийся в том духе, что, дескать, не свиной же Мите пасти в деревне.

Год прошел в деятельной подготовке к экзаменам, которые Митя, по замыслу матери, должен был держать сразу в четвертый класс. С мсье Латорильером пришлось к этому времени расстаться, и занятиями увлеченно руководил Андрей Дмитриевич Данилов, брат Варвары Дмитриевны, недавний студент, красноречивый неудачник.

Был Андрей Дмитриевич в ту пору молод, великодушен и проникнут сознанием своей высокой миссии. Ему были вверены умы и сердца удивительных детей.

Он совершенно разделял убеждение сестры, что нет на свете другого такого кроткого, правдивого и остроумного малыша, как Митя. Всякую мысль схватывает на лету, каждое новое слово мгновенно запоминает. Знать бы, на каком поприще суждено ему отличиться. Слыханное ли дело, чтобы ребенок с восьми лет сочинял, да еще по-французски? И ведь забавно пишет, и эта сказка его, «Рамалион», где действие происходит на таинственной планете «Мир духов», — прелестная сказка.

Впрочем, Андрей Дмитриевич находил, что способности Раисы едва ли уступают Митиным. Он восторгался слогом ее дневника, силой ее характера, умом. «Какой материал! Это будет первая женщина в России!» — восклицал он за вечерним чаем. Варвара Дмитриевна, слушая брата, лишь качала головой.

Наступил день отъезда, мягкий декабрьский день тысяча восемьсот пятьдесят первого года. Вещи уложили в кибитку. Притихшая семья, кое-как покончив с завтраком, проследовала в образную. Не сводя глаз с киота — старинные иконы в серебряных ризах, пучки трав с берегов Иордана, — изо всех сил сдерживая слезы, Митя повторил за матерью молитву, которую затвердил, едва научившись говорить, — о ниспослании понятия к наукам. Варвара Дмитриевна

повесила ему на шею бархатный мешочек с вышитым изображением Димитрия Солунского. Внутри была вата с мощей святого — лучшее средство от головной боли.

Потом, уже простившись, долго шли все вместе по накатанной, в мраморных разводах, дороге, шагах в ста позади кибитки. Говорили разные пустяки.

Наконец, поднявшись на косогор, кибитка остановилась. Дяденька Константин Иванович — он ехал в Петербург по делам — усадил плачущего Митю на подушку и сам сел рядом, застегнув меховую полость. Кучер крикнул на переминавшихся лошадей, те резво взяли с места. Иван Иванович, Варвара Дмитриевна, Андрей Дмитриевич, Вера и Раиса размахивали цветными платками, пока не скрылась кибитка в быстро темнеющей дали.

...Потянулась дорога. Вечером в Сергиевском переменили лошадей, — дальше ехали на почтовых. Под утро остановились в Туле. Еще сутки добирались до Москвы. Полозья тонули в сугробах, скрежетали на редких мостовых, опасно звенели по наледям. На каждой почтовой станции пахло щами, дегтем, отсыревшей овчиной, блестел начищенными боками дежурный самовар. От самовара до самовара верст двадцать. Марьино, Маляково, Серпухов, Молоди, Подольск. Дорога шла сквозь сон, прерывалась ознобом и странно громкими мужскими голосами.

В Москве ночевали у родственников. Наутро отправились в контору железной дороги.

«...Там были люди всяких классов: купцы, мещане, офицеры, солдаты, дворяне и даже Татары. Итак, мы наконец поехали; у меня невольно сжалось сердце, но это было скорее от нетерпения, от беспокойства, а не от боязни. Машина тронулась сначала очень медленно, потом все скорее и скорее и, наконец, достигла невероятной степени быстроты: мы летели».

Целые сутки летел поезд до Петербурга. На следующее утро дяденька Константин Иванович отдал Митю с рук на руки тетеньке Наталье Петровне. Теперь мальчик должен был жить у нее.

«Тетенька вышла нам навстречу, и я бросился в ее объятия и благодарил ее мильон раз за ее благодеяние и обещал ее любить, как Тебя, милая, нежная Мамаша».

Так вот и случилось, что отрочество Мити Писарева прошло вдали от родного дома, среди петербургских

подагрических дядюшек и перезрелых кузин, в одинокой, захватывающей борьбе с гимназической программой. Родители, Вера, Роза, дяденька Андрей застыли в ожидании где-то далеко, на краю учебного года, превратились в адрес на конверте, приготовленном к воскресенью, в слова «каникулы» и «Грунец», в мечту, неотвратимо тускнеющую к декабрю, но прибывающую после солнцеворота, — совсем как петербургский денек.

Наталья Петровна что ни год нанимала новую квартиру, но всякий раз так, чтобы не слишком удаляться от Гагаринской улицы, от Третьей Санкт-Петербургской гимназии, а стало быть, и от Пустого рынка, и от церкви Слепых, и от Летнего сада, — Литейная часть, одним словом.

В Третьей гимназии, где плата за обучение была не слишком высока, но состав преподавателей превосходный, — в Третьей гимназии учился Митя Писарев. И другой Митя, Уваров, тоже внучатый племянник Натальи Петровны.

А еще жила у нее Марья Федоровна Уварова, сестра этого другого Мити, вздорная девица лет двадцати.

Добрая и набожная женщина была штабс-капитанская вдова Наталья Петровна Данилова, урожденная Жукова. Любила племянников и племянниц, охотно тратила на них скромный свой пенсион и не докучала ни нотациями, ни нежностями. Воспитала в свое время Вареньку, то бишь Варвару Дмитриевну, теперь вот ее сына взяла к себе. Пусть учится.

И, невольно подражая Наталье Петровне, дальняя-предальняя петербургская родня Писаревых одобрительно гудела вокруг Мити все время, пока он учился в гимназии. Дарили ему портфели и галоши, книжки и перочинные ножички, конфеты и серебряные рубли. Закармливали на Рождество и на Пасху, звали на детские балы. Спрашивали об отметках. Хвалили почерк. Ставили в пример другим детям — смотрите, какой он скромный, прилежный, благовоспитанный.

— Это-то верно, — вздыхала Наталья Петровна, — только вот вялый он какой-то. Тихий слишком. А и расшалится, так некстати и чересчур. Затеет бегать по всему дому с другим-то Митенькой, с Уваровым, — батюшки мои, не угомонишь. Пока не разобьет что-нибудь — зеркало, или чашку, или нос. Да оно бы ничего, только редко резвость эта в нем проявляется. И то сказать, всё не дома. По своим скушает, бедный. Потом и учиться нелегко. Задач им, уроков задают —

как только справляется! А Митя в классе-то самый младший. Писала ведь я Вареньке, что трудно ему будет...

Учился Митя Писарев очень хорошо, хотя и без блеска. Шел то вторым, то третьим. И награды, которые он получал каждую весну, при переходе в следующий класс, давались ему ценой усилий, головной боли. Но зато не бывало скучно. Жизнь скрашивал азарт отличника, понятливая память что ни день торжествовала победу, а главное — взрослые были довольны Митей. Ради этого стоило отложить «Трех мушкетеров», спрятать в стол коробку с игрушечными солдатиками. Завтра спросят из латинского, а Овидий не готов. И надо подзубрить физику — трение. И шесть задач по алгебре. И немецкие примеры.

День за днем, вечер за вечером уходили гимназические годы на приготовление уроков, на ожидание, что вызовут, спросят, пригласят к доске.

«Я имею 5 по всем предметам, включая военные упражнения: итак, я сравнялся с Ординым, и не моя вина, если он считается первым».

Классы начинались в девять. Митя часто опаздывал. Мучительно было просыпаться впотьмах, становиться босиком на скользкий стылый паркет. Умыться, причесаться, глотнуть чаю с молоком, натянуть шинель и галоши, броситься к дверям и вернуться за позабытым учебником Смарагдова. Вывалиться, наконец, из подъезда в декабрьскую мглу, расквасив снежок на тротуаре. И с первым шагом, с первым глотком темного, сырого воздуха забыть, что видел во сне, и вспомнить, что на сегодня задано...

Догорают плашки на чугунных тумбах, мерцают свечи за обледенелыми окнами домов, топочут лошади, пахнет хлебом, проплывают заснеженные шинели. Оскользаясь и взмахивая руками, бормоча вызубренную строку из «Илиады», спешит на урок маленький гимназист.

Потом он идет по коридору, вдыхая тепло, пропахшее раскрошенным мелом и влажной ветошью. По правую руку — двери классов, там уже бубнят утренние голоса, по левую руку — большие окна, в которых сквозь его отражение, сквозь блеклые чернила столичной зимы уже проступает резкий контур соседней крыши с прямоугольными зубцами дымоходов.

Уняв дрожь, постучаться, извиниться, выслушать выговор, проскользнуть, не глядя на пересмеивающихся одноклассников, к своей парте, скорей достать все, что надо,

и замереть на несколько секунд, пока возобновляется урок, пока забудут...

Вообще-то пансионеры гимназии не любили приходящих учеников, этих прилизанных баричей, которых за ручку приводили в класс горничные, а дома ждала отдельная комната, мягкая постель, рождественская елка. У пансионеров была своя компания. В карманах черных курточек они прятали окурки. Ночами в дортуарах по очереди рассказывали соблазнительные и страшные истории. Делились друг с другом родительскими посылками, на уроках тайком сочиняли письма в далекие степные уезды, а перед ужином гурьбой слонялись по Литейной, робко роня неприличные слова вслед проходившим мещанкам. В гимназии случались драки.

Но Митю Писарева почти не трогали, хотя он и был самым младшим в классе. В конце концов, он тоже приехал издалека, и жил не с родителями, а у какой-то тетушки, он не зазнавался и не ябедничал. Его дразнили «девчонкой», но, по правде говоря, и нельзя было не дразнить: высокий звонкий голосок, нежный румянец (фамильная черта!), тетрадки, все как одна, любовно обернуты цветной бумагой, перевязаны ленточками, в учебниках закладки, и перья всегда очинены... просто досада брала. Ходил Митя Писарев важно, как взрослый, руки держал на отлете, а толкни — сразу упадет. Драться с ним было неинтересно. Вот разве ущипнуть или руку выкрутить — чтобы весь покраснел, изображая невозмутимое достоинство, а голос жалобно задрожал: «Да что же это, господа! Полно ребячиться! За что?».

Чистюля, плакса, отличник — хотя казеннокоштный Ордин учился лучше, и Мостовенко и Цветков не отставали, — Митя все же иногда удивлял товарищей. То загрустит, затихнет — и целую неделю учителям от него толку не добиться. То на рекреациях ринется со всеми в обжого — пятнашки, — на щеках багровые пятна, визгливо и громко хохочет, и хоть сам директор выйди в коридор — Писарев не увидит и не услышит.

Учителя к нему благоволили, особенно Буш, Эдуард Павлович, преподаватель немецкого. Словесник Владимир Яковлевич Стоюнин был суровее всех. И Писарев томился на уроках литературы. Свои гладкие, дельные сочинения он начинал общими местами, тоненьким эхом возвращая Стоюнину его же честные, черствые мысли. Но это в сочинениях по гимназической программе. А программа была урезана, хрестоматия Галахова бедна. И чтобы развивать

учащихся, Стоюнин задавал им писать на вольные, неожиданные темы: «Первый урок за азбукой», «Скука»... В этих случаях у Писарева, к общему удивлению, выходило лучше всех. Всякий раз получался беззащитный мемуар, поразительная смесь жалобы и насмешки, точно было двое Писаревых — маленький и большой, точно старший писал о младшем, все без утайки.

«И нам случается скучать; как засидишься дома на праздниках; на улице холодно, пойдешь гулять, уши отморозишь; дома скучно сидеть; читать надоело, писать нечего, да если и было бы, так лень. — А тут шепчет какой-то голос, вроде совести: — повторика риторике; да и хронологию не худо было бы поучить. Или набери слова из Корнелия Непота. — Э, отвечаешь на этот тайный голос, риторика пустяки, и повторять-то не стоит, хронологию подучить успею, ну а слова... да еще время впереди...

Вот и заглушишь кой-как тайный голос и опять предаешься полусонному бездействию и погрузишься почти в то состояние, в котором Китайцы представляют своих ленивых богов. — Но ведь это смешная сторона скуки; но беда, если к ней присоединится какая-нибудь другая причина; например, уединение; тогда она принимает громадные размеры, она переходит в тоску; к скуке присоединяется какая-то болезненная грусть, какое-то томительное, тяжелое, душное чувство одиночества, какая-то тайная, непонятная боязнь, сжимающая сердце, и скука, чувство и без того неприятное, делается невыносимым, переходит в хандру, приводит в отчаянье, и решительно отравляет жизнь».

Стоюнин выводил на полях: «Очень хорошо» — и ставил дату. Ни он и никто другой ни тогда, ни после не видели на линованной бумаге пятен судьбы.

Так прошли три с половиной года. Все чаще снилась Писареву Роза. Все дольше просиживал он у окна, глядя на грязный двор, загроможденный поленищами дров. Бродячие музыканты завывали: «Ты умерла, ты умерла!». В табеле были четверки за прилежание и за поведение. К счастью, это был седьмой класс, весна пятьдесят шестого. Прошли экзамены, а с ними — апатия и тоска. Пятнадцатого июля состоялся выпускной акт. Были прочитаны речи на греческом, латинском, французском, немецком и русском языках. Затем приступили к раздаче наград. Дмитрий Писарев получил похвальный аттестат за номером 739 «с правом вступления в гражданскую службу с чином четырнадцатого класса и с преимуществами второго разряда чиновников по воспитанию». Он был награжден первой серебряною медалью. Золотую получил Филипп Ордин.

Гимназический сторож в последний раз взмахнул колокольчиком, и музыка свободы раздалась в сердцах девятнадцати выпускников.

Назавтра Писарев уехал в родительское имение.

Стоит ли описывать деревенское лето? Всякий легко представит себе землянику в траве, и тающий в зените обрывок облака, и листву, на которой дрожат пятна света, отраженного рекой. Холстинковые платья барышень, кружевные зонтики; голоса в роще, завтрак на опушке, муравей бежит по скатерти, огибает серебряную солонку. Аукаются горничные девушки, обирая сумрачный малинник. И к вечеру будет гроза.

Все эти parties de plaisir, и купание в Зуше, и Куперов «Шпион», которого читают вслух, расстелив пледы под старинной липой. А качели в саду! А шахматы на террасе!

И Митя Писарев был счастлив. Он потолстел. Отпустила судорога, пропал пугливый осклаб смышленного карлика. Он снова был наконец-то дома, и все любили его: родители, сестры Вера и младшая, Катенька, и Роза. Мир сомкнулся вокруг, стало светло и безопасно.

Смысл и долг и цель жизни заключались, собственно, в том, чтобы так было всегда. И для этого Мите надлежало непременно и скоро добиться солидного положения в обществе, сделать карьеру, упрочить семейный бюджет.

Навестили благодетеля Николая Эварестовича в белоколонном его Истленеве. Благодетель был человек дальновидный, практический был человек. Он говорил, что раз уж нет у Мити склонности к военной службе, то поступать с чином четырнадцатого класса в какой-нибудь департамент и вовсе глупо. В лучшем случае годам к сорока получишь статского советника с окладом тысячи в три, а это не бог весть что, особенно в столице. А в провинции служить не всякий сумеет, — надо ох какие тонкости знать досконально. Тем более сейчас, в начале нового царствования, после проигранной кампании в Крыму. Неизвестно, что ждет впереди. Поговаривают о каких-то реформах. Так что если молодой человек желает продолжать образование — давай Бог. Учение нынче в чести.

Благодетель выразил готовность платить за Митю в университет. Лучшего и желать было нельзя. Прошлое съежилось стопкой учебников в теткинском шкафу, будущность сияла эфесом студенческой шпаги. Правда, опять сквозила разлука; опять, словно в холодную воду, входила в жизнь,

полную городского шума и чужих людей, — но лишь затем, чтобы, выбравшись на берег, никогда уже не покидать его.

Оставалось выбрать факультет.

«По математическому не пойду, потому что математику ненавижу, и в жизни своей не возьму больше в руки ни одного математического сочинения... По естественному тоже не пойду, потому что и там есть кусочек математики; юридический факультет сух... В камеральном факультете нет никакой основательности... Разве на восточный... Поехать при посольстве в Турцию или в Персию... жениться на азиатской красавице... привезти ее в Петербург и посадить в национальном костюме в ложу, в бельэтаже, в итальянской опере... Это, впрочем, пустяки... А вот что: ведь на восточном придется осиливать несколько грамматик, которые, пожалуй, будут похуже греческой... Ну и Бог с ним! Значит — на филологический!»

Читатель знает, конечно, что в этом беглом повествовании прошло уже более половины жизни Дмитрия Писарева. Ему шестнадцать лет.

Он не любил еще никого, кроме родителей, сестер и худенькой строгой кузины; не интересовался ничем, кроме картинок, игрушек и авантюрных романов. Подолгу жил от родных вдалеке. Выказывал отличные способности, но часто скучал и плакал. Ходил к исповеди и не читал газет.

Очень скоро вся эта светлая половина жизни представится ему сплошной дремотой, оцепенением путника, подавленного набегающим, пронизывающим пространством. Писареву покажется, будто он проспал отрочество, как дорогу от Грунца до Петербурга, как урок в гимназии...

Глава вторая

СЕНТЯБРЬ 1856 — АВГУСТ 1857

Профессоры читали слишком громко. На первом курсе числилось всего двенадцать филологов. Один из них, впрочем, на лекциях не показывался. Звали его Всеволод Крестовский, он писал стихи, печатался, вращался в литературных салонах. В университете он появился лишь перед началом переходных экзаменов, весной.

Остальные первокурсники посещали занятия довольно усердно. Тем более что и лекций было всего двенадцать в неделю, и записывать их было не обязательно (не то что в Главном педагогическом институте!). Один Писарев вел, разумеется, тщательнейшие конспекты и школьническим прилежанием вызывал снисходительные усмешки соседей. «Рыженький, розовенький, с веснушками на лице, одетый с игопочки, он глядел вербным херувимчиком. Лекций он записывал бисерным почерком в красивеньких, украшенных декалькоманиею тетрадочках с розовыми клакспапирчиками. Всегда тихонький и кроткий, он имел вид не столько студента, сколько гимназиста третьего или четвертого класса», — впоследствии вспоминал однокурсник его Скабичевский.

Главными предметами были древняя история (профессор Касторский), теория языка и история древнерусской литературы (адъюнкт-профессор Сухомлинов), а также славянские наречия (академик Срезневский).

Касторский был бездарный смешной педант, Сухомлинов — посредственный ученый, но умелый лектор, а Срезневский — блестящий исследователь и требовательный преподаватель.

Студенты потешались над Касторским, уважали и побаивались Срезневского и аплодировали Сухомлинову.

«Я до сих пор помню, как он однажды, отработав специальный предмет лекции, начал говорить о величии знания вообще и вдруг заключил свою лекцию словами Беранже «L'ignorance, c'est l'esclavage, le savoir, c'est la liberté (невежество — рабство, знание — свобода). Нас так и подкинуло кверху, эффект вышел оглушительный...»

Известно, как действуют на новичков вступительные лекции. В самом монотонном изложении самого заурядного преподавателя слышится обещание и тайна. На вас

обрушивается целый мир новых слов, и каждое кажется путеводным. Горстке ошеломленных недорослей толкуют о вещах, самого существования которых они не подозревали. В плохо протопленных аудиториях порхают заманчивые названия: Краледворская рукопись, Моление Даниила Заточника, Русская Правда. А сколько имен: Страбон и Гизо, Лютер и Маколей, Востоков и Кирилл Туровский...

Все это было увлекательно и лестно. Все хотелось узнать самому, из первых рук, с самого начала и по порядку. Но стоило ухватиться за что-нибудь, за любое название — и в руке оказывался кончик бесконечно длинной нитки, которую никак всю не размотать. У той же Краледворской рукописи была такая сложная и загадочная история, что человеческой жизни могло не хватить на ее изучение...

Это все потом, потом. А пока что глаза щипало от восторга. И учиться было не в пример легче, чем в гимназии. Времени свободного открылась пропасть. Обнаружилось, что день велик и Петербург огромен. Европейский город, пятьсот тысяч жителей. До чего затейливо был он иллюминирован второго октября, как раз в день рождения Писарева, — по случаю въезда государя (Александр II возвращался из Москвы, где проходили коронационные торжества)! Как славно было после лекций плечо в плечо с Ординым и Мостовенко (вчерашними одноклассниками, а теперь однокурсниками) пройтись по Невскому, по солнечной стороне, распахнув плащи так, чтобы виднелись синие воротники мундиров.

Проголодавшись, заходили в кондитерскую, где шелестели дружно листаемые газеты, будто ветер в снастях корабля.

— «Сиамская армия, по общему мнению, обладает наилучшими боевыми слонами из всех стран Крайнего Востока», — читал вслух один завсегда́тай другому.

А на Невском прибывал шум экипажей, говор толпы. Мимо витрин скользили нарядные дамы, франты в черных касторовых пальто. Один за другим зажигались фонари, и наступал вечер.

Пора было домой. Жил теперь Писарев не у тетушки Даниловой, а у дядюшки — генерала Роговского. Генерал был богат и со связями в кругах средней петербургской бюрократии. Предполагалось, что в доме у него Митя Писарев усвоит светский лоск и сделает нужные знакомства. Ну и, конечно, здесь он чувствовал себя гораздо независимей, чем под опекою тетушки Натальи Петровны. Генерал покровительствовал ему равнодушно и требовал одного: не опаздывать к обеду. В комнате у Мити стоял замечательный,

тяжелый, орехового дерева стол, и можно было сколько угодно заниматься древнегреческим, читать «Парижские тайны» или возиться с переводными картинками.

В самом конце первого семестра профессор Сухомлинов на лекции по истории языка заговорил о том, что филолог должен внимательно следить за работой западных мыслителей.

— Мы не имеем права брать сведения из третьих рук, как это бывает слишком часто, — внушал Сухомлинов. И закончил так: — Вот здесь передо мной лежит несколько статей, написанных виднейшими немецкими учеными. Вам, господа, предстоит не только прочесть их, но и перевести.

Все его слушатели поместились на одной скамье в первом ряду. Писарев сидел посредине и к кафедре подошел последним. Ему досталась самая толстая брошюра: «Языкознание Вильгельма Гумбольдта и философия Гегеля». Имена эти Писарев знал только понаслышке, а фамилия автора брошюры — Штейнталь — и вовсе ничего ему не говорила. Но выбора не оставалось.

Впрочем, он принялся за эту работу с увлечением.

Он обожал Михаила Ивановича Сухомлинова. «Я увлекался в одно время и чувством массы, и своею личною потребностью найти себе учителя, за которым я мог бы следовать с верою и любовью». На лекциях Сухомлинова, особенно когда он читал теорию языка, Писареву казалось, что за малопонятными словами мелькает особенный, стройный мир знаний, где все друг с другом связано и полно смысла; казалось, что филология — великое призвание, тайное братство умов, обладающее истиной и способное повернуть мир. И от причастности к этому призванию нарастал восторг: «Хочу служить науке, хочу быть полезным, возьмите мою жизнь и сделайте из нее что-нибудь полезное для науки!» И вот наконец случай представился.

На святках Писарев засел за брошюру Штейнталья — и руки у него опустились. Сто сорок страниц немецкого философского текста!

«...Вообразите себе, что Штейнталь, который о высоких материях пишет так же удобопонятно, как и все прочие немцы, начинает сравнивать Гегеля с Гумбольдтом, и притом не факты, добытые ими, не результаты, к которым они пришли, а методы их мышления и исследования; и это сравнение продолжается на 140 страницах; и это надо было переводить мне — человеку, читавшему Маколея с трудом и Диккенса без особенного

удовольствия... У меня на первых пяти строках закружилась голова...»

Можно было отказаться от задания и вернуть книжку Сухомлинову. Можно было попросить у него разъяснений, взять список дополнительной литературы, попробовать разобраться в теме. Наконец, стоило попытаться все же одолеть эту злосчастную брошюру, дочитать ее до конца.

Ничего этого Писарев делать не стал. Ему было страшно и скучно, и самолюбие страдало. Подавленный необъятностью предстоящей задачи, он прибегнул к испытанной гимназической уловке — переводить слово в слово, не вникая в смысл, «не читать, а прямо переводить, хотя бы связь между отдельными периодами и смысл целого остались для меня совершенно непонятными».

Таким способом удавалось изготовить не более двух страниц в день. Нелепая работа должна была отнять почти семестр. Этот расчет омрачил праздники.

Новый год Писарев встречал в дядюшкиной гостиной: легкий ужин, потом шампанское, конфеты. За столом толковали о ворах, которых в эту зиму появилось так много в Петербурге. Благодаря амнистии, объявленной в августе по случаю коронации императора Александра, свободу получили не только политические преступники — декабристы, петрашевцы, но и тысячи уголовных. Они наводнили обе столицы. Сколько сорвано дорогих шапок с проезжающих даже по Невскому проспекту, сколько часов вырвано из жилеток, серег прямо из ушей... Писарев рассказал историю, слышанную от Скабичевского, — как одного студента на прошлой неделе ткнули ножом в бок и отняли у него сто рублей только что полученного гонорара. И это на площади Мариинского театра, в восемь часов вечера!

Генерал сообщил свежую московскую сплетню: славянофил Шевырев заспорил с англоманом графом Бобринским о сэре Роберте Пиле. Профессор Шевырев ругал Пиля, Англию и вообще Запад. Бобринский назвал Шевырева квасным патриотом, который кадит правительству; профессор ударил его по лицу. А Бобринский повалил Шевырева и стал топтать ногами, и славянофила на простынях унесли домой полумертвого.

Митя не знал, кто такие сэр Роберт Пиль и Шевырев. Он отодвинул краешек тяжелой шторы и загляделся на снегопад, на свет, колеблющийся в чужих окнах. До слез хотелось в Грунец.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru